## Бежать по воде

Тем летом всё было не так. Мы ходили на залив, и нам казалось, что лучше уж утонуть в этом лягушатнике по коле-

но, чем жить в нашем доме. Сидели на берегу, кидали кам-

ни с потаённой ненавистью и к заливу, и к миру, и к самим

злостью. Быль. Быль. Ещё немного, и закричишь сам. Катька! Катька! Я ненавижу своё имя. Мне непонятно, зачем родители назвали меня этим дурацким набором букв. Катя. Да фу! Сами они кати. И ещё: Катюша. Прям деревенщина какая-то. От этого вообще хочется тошнить. Вырасту и обязательно поменяю имя. А пока только и могу выбирать – откликаться или нет. И я выбираю: нет. – Катька, глухая, что ли?! Я молчу. Спиной чувствую, что это Паша. Тоже так себе имечко. Вообще не люблю все эти -ша: Паша, Саша, Маша, Даша... И ещё -тя. Мою сестру зовут Настя, ну, у неё хотя бы есть выбор – она может быть Асей. Ася – это неплохо, это даже прикольно. А я кем могу? Атей, что ли? Атя, Атя, Атя. И сразу утки перед глазами плывут, и хлеб кто-то бросает. Да ну. Пашка – наш сосед. Он толстый, и от него всё время пахнет. Я не понимаю, как так можно. Такое ощущение, что он не моется. Может, в залив его спихнуть? - Катька! Я молчу, жду, когда он подойдёт ближе. Я знаю, что он обязательно схватит меня своими руками, и тогда я схвачу его, резко разверну и брошу в воду. У меня удоб-

ное место. Я на камне, подо мной – как раз по колено. Но до меня надо ещё добраться, и я слышу этот верный плеск: Паша не удержался на камнях и упал сам. Обидно. Ну ладно, хоть помылся. Я оборачиваюсь, а он, мокрый,

неуклюже семенит обратно и плюётся:

себе. Камни бились об воду и дырявили её насквозь. Если бы вода это чувствовала... Так хотелось сделать кому-то больно. Так хотелось, чтобы кто-то закричал, кто-то порвал уже этот серый туман, серый дом, серые дни, в которых мы жили. Как жаль, что вода не кричит. Ей всё равно, хоть обкидайся в неё камнями. И от этого кидаешь с ещё большей

Я смотрю на него и по-прежнему молчу.

– Тебя искали! – кричит он обиженно. Я знаю, что меня искали. То есть меня всё время ищут.

- Ты! Ты виновата!

Даже если я скажу: «Бабушка, я иду гулять на залив с Настей. Мы вернёмся через два часа» – даже если я так ска-

жу, то бабушка через полчаса начнёт нас искать. Через час пошлёт за нами Пашу. А Паша – ябеда.

час пошлет за нами пашу. А паша – яоеда. Аси сегодня со мной нет, мы поругались с утра, и я ушла на залив одна. Вот этот вонючий и притащился.

Стоит теперь, обиженный, а на обиженных знаешь что? Воду возят. Но я молчу. Мне интересно, что будет, если

молчать? А Аська с утра ещё обиделась. Сказала, что я всегда

говорю одни только гадости. Неправда. Я говорю правду. Она продалась за мультики. Разве это не так? Бабушка обещала, что, если мы не будем лазить на крышу, она

разрешит смотреть мультики. Крыша важнее мультиков,

я считаю. А Аська продалась, как будто мультиков никогда не видела. Вот я ей это и сказала, и мы поругались. Она со мной теперь не разговаривает, а я вообще не разговариваю ни с кем. Паша кричит мне:

– Тебя бабушка ругать будет!
Бабушка меня всё равно ругать будет, что бы я ни сделала. Ася ей больше нравится – Ася за мультики продаётся. А я ни за что не продаюсь. Бабушка не понимает и

ётся. А я ни за что не продаюсь. Бабушка не понимает и потому ругается. Думает, если будет ругаться, то я продамся за угрозы. То есть продамся, чтобы она их не выполнила. Но мне всё равно: хоть какое-то развлечение в

этом унылом доме, пусть выполняет. Но она даже толком наказать не может. Взрослые всегда так: обещают с три короба, а потом просто весь вечер в комнате сидишь,

короба, а потом просто весь вечер в комнате сидишь, ждёшь, когда они уснут, и через окно вылезаешь – вот и всё наказание.

да! Всегда ябедой был. Мы его с собой на крышу взяли, он нажаловался, и бабушка нас закрыла дома на два дня. Тогда Аська и продалась за мультики. А Пашке ничего не было: взрослые любят стукачей. И не любят правду. Я вытягиваюсь на камне. Он овальный, прохладный прикасаешься к нему лопатками, и руки сразу в разные стороны раскрываются. Лежишь, будто птица, и в небо падаешь. А вокруг вода, вода, вода. И всё серое. Ужасно серое. Но даже у серого есть оттенки. Небо не одного цвета: оно там светлее, здесь темнее, тут клочками, завитушками, кусками рваными. Иногда смотришь и думаешь: кто это рвёт его? Может, тоже кто-то сердитый, вроде меня, кого назвали Катькой или ещё как по-дурацки? И от этой мысли теплее становится. Я не одна. – Катя! – теперь уже другой голос, я даже не сразу узнаю его. Думала, мы в ссоре. Ася стоит на берегу и хмуро пялится на мой камень. То есть на меня, наверное, но я ощущаю себя слившей-

Что расскажешь? Что ноги кривые и ходить не умеешь? Что сам с собой разговариваешь? Но Паша убегает. Ябе-

– Я всё расскажу! – кричит Паша.

смотрит прямо мне в глаза:

– Бабушка сказала: если ты не придёшь сию же минуту домой, то останешься без обеда.

Нашла чем угрожать! Ладно бы на обед ещё что вкус-

ся с камнем, такой же молчаливой, неподвижной и почти равнодушной. Омывайте меня, воды, обдувайте меня, ветры, кричите мне, люди, что мне до вас? Смешно. А Асе – нет. Она видит, что я ещё не до конца слилась с камнем,

ное было. А там гороховый суп. Позавчерашний к тому же. Вот уж велика потеря! Я вообще не люблю гороховый.

– Что ты молчишь? Ася напряжённо глядела на меня, а я валялась на кам-

не и молча глядела в ответ. Мне было хорошо. Наверное,

что продалась, но ей хочется, чтобы никто этого не знал, чтобы все думали, будто она просто хорошая девочка, как думает бабушка. А я сказала ей правду. И она хочет заставить меня перестать думать правду. У неё даже слёзы выступили – так ей этого хотелось. Я отвернулась. Вода плескалась, ничего не было слышно, но я знала, что Аси уже нет на берегу. Я всегда говорю гадости – так она думает. Конечно, я говорю гадости. А послушная, хорошая девочка Ася смотрит мультики, пока я заперта в комнате. Я ей кричу: «Аська! Аська! Выпусти меня!». Но она послушная. Она хорошая. Не то что я! Конечно! И ладно крыша! Ей мультики дороже меня. Вообще теперь бабушкин выход, надо приготовиться. Ну, полчаса у меня есть. А то и целый час – бабушка ходит медленно. Пока она дойдёт до залива, пока со всеми другими бабушками по дороге поговорит... Долго, очень долго. Надо же рассказать, какая я! Вообще! Да за это время поспать можно. Качается вода вокруг меня, качается небо, и я качаюсь на камне. Может быть, я вода, а не камень? Бабушка тоже хочет изменить мои мысли. Её любимая фраза: «Ты не должна так думать». Я спрашиваю, почему её мысли важнее моих, а она кричит, что я дерзить смею. Или что-то такое кричит. Я сказала ей недавно, что она нас любит, только когда понимает. А это бывает очень редко. Точнее, этого почти не бывает. Когда она не понимает, она всегда сердится и кричит, она хочет, чтобы мы стали понятнее, не вели себя так, как ведём, никуда не ходили, и тоже пололи бы цветочки целыми днями, и с со-

седями болтали через забор. Она хочет, чтобы мы стали

бабушками. И ещё хочет, чтобы я так не думала.

по-настоящему хорошо. Я вдруг поняла, что не только Паша, но и Ася тоже говорит сама с собой. И обижается на самом деле на себя. Потому что она прекрасно знает,

быстрее, чем я ожидала. Видимо, это серьёзно. Меня редко зовут полным именем, только когда всё, кранты. Поэтому полное имя я

– Екатерина! – о, это что-то новенькое. Бабуля явилась

тоже не люблю. Если я его слышу, то лучше делать ноги. Я даже приподнялась.

Бабушка стояла на берегу, суровая, непоколебимая, и её серые волосы волнами окутывали голову, прячась в пучок у самой шеи. И волны залива, подбираясь к её ногам, тоже были серые, тоже что-то окутывали. Зем-

ля круглая, как голова. Интересно, есть у земли шея и остальное тело? Причёсывает ли она свои воды, когда никто не видит? Бабушка грозная, я отсюда чувствую, как она кипит, как не поздоровится мне, если я попаду

в её горячие руки.
– Сейчас же слезай и иди сюда.
Ну, конечно. Мне и так уже кранты, я лучше оттяну

этот момент. — Екатерина, я кому сказала?!

– Екатерина, я кому сказала?! Бабушка по скользким камням ко мне не пойдёт – побоится. Поэтому я молчу и жду: что будет? Мне немно-

го страшно, хотя самое страшное, что сделала со мной бабушка, это однажды схватила за волосы и немного потрясла. Это было неприятно, даже чуть больно, но ожидание этого или мысль о том, что тебе вообще могут сделать больно, – вот что пугает. Я сижу на камне, смотрю на бабушку и думаю: что может быть хуже таскания за воло-

оаоушку и думаю: что может оыть хуже таскания за волосы? Я уже падала с дерева и с велосипеда – вот это было по-настоящему больно. Таскание за волосы – это фигня по сравнению с тем, как твоя рука или нога размазывается по асфальту, и сверху ещё великом накрывает. С дерева па-

асфальту, и сверху ещё великом накрывает. С дерева падать тоже мало приятного. Не знаю, как я себе ничего не сломала. Зато сломала несколько веток дереву. С одной

в руке так и упала: пыталась за неё удержаться, и это ока-

упала. Это было так странно: я вроде живая, а дышать не могла. Ну, потом задышала. Вообще я поняла! Страшно не то, что будет больно.

залось плохой идеей. Мне прям весь дух выбило, когда я

Страшно, что тебе сделают это специально. Дерево или

велосипед – это не больно само по себе. Так просто получилось. Неудачно свернул, за неудачную ветку схватился.

А бабушка, когда хватает меня за волосы или с силой толкает в комнату и закрывает дверь на ключ, – она сильнее всех. И ни один самый сильный человек на свете не сможет уговорить её открыть дверь, пока она не решит, что я достаточно наказана. И самое противное: она делает это

нарочно. Она показывает мне, какая она сильная, чтобы

я её слушалась.

– Екатерина, я за себя не отвечаю!

То что надо. Я встала на камне во весь рост и показала

– Ну всё! – и она вошла в воду.

бабушке язык.

Я спрыгнула с камня, вода прохладная, по колено, тут

сер, расталкивая толщу воды. Она была неминуема. И то, что она собиралась со мной сделать, тоже было неминуемо. Я побежала что было сил. Залив – и впрямь лягушатник, как бассейн для самых маленьких, которые не умеют плавать. Тут полчаса можно идти, и тебе всё по колено

же облепила ноги. Бабушка приближалась, словно крей-

будет. Бежать, конечно, трудновато – вода тормозит, но всё равно весело. Я обернулась: бабушка всё ещё шла за мной. Но она не любила залив, не любила воду, она была

в одежде и даже обуви не сняла – так разозлилась. Я подумала: что, если она потеряет свою туфлю сейчас? Да ладно, туфлю, ей же придётся всем встречным бабушкам

объяснять, почему она мокрая по колено! И почему меня с ней нет. А я бежала, бежала и смеялась. - Екатерина! Вернись немедленно!

Ну уж нет! Я сильнее! Сильнее тебя, слышишь?! Ты меня не догонишь! Мне хотелось кричать это, но я обещала, что не буду больше говорить. Никогда больше не буду говорить с теми, кто разговаривает сам с собой. Никогда! – Екатерина!

Я всё бежала. Бабушка уже давно остановилась и, не зная, что делать, просто стояла и смотрела на меня, выбившись из сил. Она старая уже, она не может так быстро бегать, и она хотела бы, чтобы я тоже не могла, чтобы я тоже была старой. И я даже понимала, что мне придётся вернуться однажды. Я не смогу переплыть залив, чтобы попросить убежища в другой стране. Потому что я ещё не очень хорошо плаваю и, скорее всего, утону, а тонуть мне не хотелось. Мне придётся вернуться, и бабушка мне задаст по самое не могу, и Аська будет смотреть свои мультики, за которые она продалась, и Паша-вонючка

станет кричать под окном: «Катька – дура!». Но это будет потом. А сейчас я бежала по заливу, разбрызгивая воду, вся насквозь мокрая, счастливая, свободная... Я была са-

мая сильная на свете, бабушка видела это. Так что мне точно кранты, я знаю. Но это уже неважно.

Осенне-летний треугольник

Темнота медленно падала на деревню. Она накатывала волнами, одна за другой, и воздух становился густым, наполнялся сыростью и стрёкотом. Всё впитывало ночь, и травы перешёптывались в ожидании, тревожно

качались молодые осинки в поле, и ветер гулял меж них,

чернея и остывая.

– Шыр-шыр, шыр-шыр, – ходил кто-то в кустах.

- шыр-шыр, шыр-шыр, ходил кто-то в кустах
- Шу-у, шу-у, шу-у, низко летела ворона.

Алиса смотрела ей вслед: ворона спланировала над полем и провалилась. Тревожнее закачалось в кустах. Вдали, у кромки леса, наплывал туман – он был ещё совсем маленьким, но Алиса знала, что скоро он вырастет, загустеет и поглотит лес и поле. Если совсем поздно вый-

стоит у костровища, молчит и светится изнутри.

– Смотри, – говорил папа, кивая наверх, – вон ту яркую звезду видишь? Это Денеб в созвездии Лебедя. Вон там ещё звезда – это Альтаир, из созвездия Орла. А вот эта –

ти из дома, то можно почти столкнуться с туманом: он

Вега, из Лиры. Денеб, Альтаир и Вега собираются в осенне-летний треугольник. Он виден только летом и осенью. «Денеб, Альтаир, Вега, – повторила Алиса про себя, –

Денеб, Альтаир, Вега».
– А вот это что?

– Это Арктур, из созвездия Волопас.

– Ага... – говорила Алиса и оглядывалась: папы не было. Он уезжал и приезжал всегда поздно ночью: просыпаешься в

субботу утром, а он спит на соседней кровати. В воскресенье он уезжал. Пил чёрный чай, оставлял на вешалке чёрную кеп-

ку с поплывшими белыми волнами пота и указывал наверх:

– Гляди, вон там буква W, это созвездие Кассиопеи.

Алиса глядела, а папа уезжал. И красные огни машины ухали под горку возле шоссе, а потом они почему-то долго светились в ковше Большой Медведицы, пока Алиса не моргала. Стоило моргнуть, как огни пропада-

Алиса не моргала. Стоило моргнуть, как огни пропадали, и оставался только Ковш. Мама крестила воздух и запирала калитку.

Ночи без папы становились темнее. Туман едва подби-

рался к корням деревьев, как мама уже заносила вещи и закрывала дом. Жужжал телевизор в комнате, ловивший ...

закрывала дом. жужжал телевизор в комнате, ловившии только три канала, а в грозу – ни одного, задёргивались шторы на окнах и ярко вспыхивали лампы под деревянным потолком. Становилась совсем ночь.

нас на улице не было? Нет, никто. И фонарик засветил вперёд: что там, где тревожится вдали малина?

– Пшш-вшшш! – прошёлся ветер по кустам, задев Алисину руку.

– Мой участок, – сказала Алиса, – не боюсь.
Она пошла вперёд. Одна яблоня, вторая, третья, вот уж и сарай позади – дальше только малина, а за ней – столбы, и туман поля кутает.

– Ну чего вы тут все? – спросила Алиса в темноту. –

Алиса высунулась из дома. Тишина перекатывалась вокруг, её можно было потрогать руками и отодвинуть с прохода. Фонарик пробежался лучом по кустам, цветам, тропинке, заглянул за калитку: никто не открывал, пока

Алиса вышла в поле. Здесь продолжался их участок, но где-то там, где уже не видно коричнево-серых ржавых

столбов, он заканчивался. Забора не было, и туман, ве-

Все ей не ответили. Видно, и впрямь сидели. – Ну вот и сидите. А я так, похожу немного.

Сидите?

тер, кошки, ёжики – все ходили и ползали здесь. На поле, вдалеке, из тумана росли верхушки чёрных ёлок; они ещё тыкались в небо, и было видно, как появляются над

ними маленькие звёздочки. – Ты там стой, – сказала Алиса туману. – Я ещё не ушла.

Вот уйду – тогда будешь гулять.

Туман послушно застыл в поле, и Алиса решила, что

Её участок, чего это она бояться будет? Даже если забора нет. – Та-а-ак... – она подняла голову. – Большая Медведи-

надо изо всех сил делать вид, что ей вовсе не страшно.

ца... Кассиопея... Волопас... А где... ага!
Расстелился над Алисой осенне-летний треугольник:

Денеб, Альтаир и Вега. И показался ей совсем рядом папин голос. Запахло бензином, нагретой за день машиной,

и вытирал пот со лба.

– Гляди, – говорил он, – это Денеб, из созвездия Лебедь, это Альтаир, из созвездия Орла...

– А это – Вега, из Лиры, – закончила Алиса.

заскрипели сапоги на пороге: папа снимал чёрную кепку

Она посмотрела вокруг, и ей вдруг подумалось,

что все те, кто прячутся в темноте и тревожно качают ветками, – все они тоже боятся. Друг друга, темноты

и просто так.
– Эй, – сказала она им всем, – не бойтесь.

– Вшш-вшшшш, – качнул ветер травами и листьями.

всем-совсем темно в космосе.

Поколебался туман, съел ещё немного ёлок и пошёл дальше по полю. Алиса поглядела на притихший в небе треугольник: как он там, вдалеке? Там ведь у них со-

– Спи, – сказала она треугольнику. И пошла в дом.

## Завтра в школу

Василич начал пить в июне, лет десять назад. Был такой же, как и сегодня, тёплый день, первое или второе июня. Нет, точно первое. День защиты детей был, по телевизо-

ру даже парад какой-то показали. Жена готовила пирог,

и с кухни слышались звон посуды, стук тарелок, вода пробегала по мягким Машиным рукам, наводившим порядок. Василич походил по коридору, тёмному, длинному, принюхался: яблочный. Да. Вчера из Краснодара яблок

принюхался: яблочный. Да. Вчера из Краснодара яблок завезли. Кра-а-асных. Маша и корицу даже купила. Через полчаса поспеет, наверное. Василич нашарил свои ботинки и тихо выскользнул за дверь. Ступенька, ступенька,

ступенька. Вот и солнце. Яркое, громкое, и облака жмутся по краю неба. Василич сощурился на солнце, вздохнул и вдруг понял, что жить ему осталось недолго. Бог знает сколько, но недолго. И тут очень захотелось выпить. Тогда он ещё не был Василичем. Звали его Анатолий

Васильевич. Здоровались. Руку жали. А теперь выйдешь с утра из дома, потащишься к какому-нибудь ларьку и стоишь там час, другой, прислушиваешься, как сладко зве-

– Дайте сколько не жалко, – просит Василич.

раются отойти поскорее. Василич не обижается:

нит мелочь, которую дают на сдачу.

– Мне жить-то недолго. Не пожалейте десяти рублей. – Да ты уже десять лет это говоришь! – кричит окошко ларька женским голосом. – Пшёл отсюда! Что клиентов

Иногда дают. Но большей частью смотрят мимо, ста-

ларька женским голосом. – Пшел отсюда! Что клиентов мне пугаешь? Уходи!
Василич отходит, садится неподалёку и ждёт. Вот

одно облако проплывёт по небу, вот второе... насчитает пятьдесят, снова идёт к ларьку. И снова брезгливо отходят люди, и снова кричат на него из ларька:

– Пшёл отсюда! Хватит к людям приставать!

– Ты мне лучше пива дай, – отвечает Василич и протягивает в окошко собранные монетки.

Уже на целую баночку хватит. А выпьешь баночку – всё полегче. И денег сразу просить веселее, и из ларька кричат не так противно, и люди смотрят как будто нежнее. А чего бы им не смотреть нежнее? Я ведь не бомж какой-то, ду-

Нет, кто-то не пьёт. Маша не пьёт, например. Маша... У Маши два года назад мама умерла, теперь её дома больше нет – она переехала в другой конец города и видеть

мает Василич. Всего-то и делов, что пью. Ну а кто не пьёт?

больше нет – она переехала в другой конец города и видеть мужа не желает. Василич поначалу ездил к ней, говорил: – Маша, Маша, вернись.

– Уходи, – чеканила она и пыталась закрыть дверь, но

Василич не давал.
– Маша, я ведь умру скоро.

Мало? Ещё хочешь?

– Маша, прости меня. Когда я умру, моя квартира достанется тебе. Продай её, непременно продай и поезжай куда-нибудь. Хочешь в Египет? Или в Турцию? Мы ведь

– Уходи, скот проклятый! Восемь лет мне нервы пил.

так и не съездили с тобой в Турцию. Говорят, в Стамбуле вино хорошее. Маша? Ты слышишь? Попробуй за меня вино, когда я умру. Маша чувствует, что хватка мужа слабеет, и с грохо-

маша чувствует, что хватка мужа слабеет, и с гр том захлопывает дверь.

– Маша! Это тяжело – жить, когда знаешь, что скоро умрёшь!
Но дверь хранит железное молчание.
– Я бы хотел собаку, Маша. Но как я её заведу? Я ведь

про каждого думаешь. Может быть, Маша, я специально так с тобой. Ты же тоже меня любила. А я почувствовал, что жить мне недолго, и начал пить. И ты перестала любить меня. А если бы не начал и помер прям так, ты бы что дела-

умру, а она останется. И тоже помрёт с тоски. И чего? И так

ла? А, Маша? С тоски бы тоже... того.
И Василич тихо присаживался возле двери, а Маша по

другую сторону беззвучно плакала, но не открывала. А какая Маша была хорошая! Василич вспоминал её иногда перед сном, когда выпивал недостаточно, чтобы

иногда перед сном, когда выпивал недостаточно, чтобы сразу провалиться в темноту. Жалел, что не случилось у них детей. Он хотел девочку, и чтобы такую же, как Маша. Со светлыми волосами, будто пшеница, с глазами

зелёными, смеющимися, с солнечной радужкой вокруг

зрачка. Маша не то чтобы была красивой. Но она была такой сильной, такой светлой.

– Что ты учудил? Умрёт он скоро! Ну конечно! – смея-

лась она поначалу. – Да все умрём. Чем ты лучше? Её даже выкидыши не сломили. Ну нет детей и нет, что

ж теперь, решила она. И как-то разом вскинула голову,

ствовал, что умирает. С каждым часом, с каждой минутой в нём отмирала какая-то клетка, а то и сразу сто. И новые не приходили им на замену.

– Да печень у тебя отмирает, – говорила Маша. – Будешь дальше пить – и правда загнёшься скоро.

– Нет, Маша. Я умру не потому, что пью. А я пью, потому что умру. Да и как не пить? Вы все останетесь, а я уйду. А что там дальше – почём знать? Вот, может, просто

засну – и темнота. И так до скончания времён. А вы оста-

– И что? Обидно ему! Сколько людей умирает, и никто

– Я и не жду. Я просто знаю, что мне недолго осталось. Друзей у Василича было не то чтобы прям много, но и

нетесь. И у вас тут солнце будет. Обидно, Маша.

не ждёт этого так, как ты.

выпрямила спину и пошла дальше по жизни, сильно, красиво, весело. Она и его пыталась вытащить. Таскала по врачам, записывала в общества анонимных алкоголиков (и что в них анонимного, когда все рожи с соседнего района?), прятала деньги. Всё было бесполезно. Василич чув-

те оказались так себе. Махнули на него рукой, и всё. Только Колька ходил за ним целый год, говорил, мол, одумайся, что ты делаешь, в какую яму катишься, да ещё и жену за собой тащишь...

Никого я не тащу, – сердился Василич. – Сама идёт.
 Ещё лучше! Ты чем думаешь, Толя? Ты хоть жену пожалей, раз на себя наплевал!

Потом и Коле надоело. А были лучшими друзьями в детстве, прям братьями. Очень жалели, что родители разные и нельзя жить в одной комнате. Были бы два бра-

разные и нельзя жить в одной комнате. Были бы два брата – Толя и Коля. Не разлей вода. Вода и не разлила. А вот что покрепче...

В конце концов и Маша не выдержала. Восемь лет терпела. Почти бесконечность! Если повернуть восьмёрку боком – бесконечность и будет. Василич вспоминал

Машу: вот ей двадцать, вот двадцать пять, вот уже тридцать, третий выкидыш, морщинки на лице, но всё в уголках глаз, улыбается много, вот тридцать пять, вот сорок, может, нам с тобой хозяйство завести, спрашивает Васи-

лич, да какое хозяйство, будешь ты за коровами ходить, смеётся Маша, и они живут дальше. Она – в магазине работает, он – грузчик. Вот Маше сорок два, и он получает травму. Всё, больше нельзя таскать тяжести. Ну ничего, говорит Маша, хочешь, устрою тебя в нашем магазине? Да можно, наверное, отвечает он, и Маша режет яблоки для пирога, а он нашаривает ботинки в тёмном коридоре, выходит на улицу, видит солнце и вдруг понимает, что

скоро умрёт.

Какой сегодня день? Тридцатое мая. Завтра первое июня. Десять лет, как я пью, думает Василич и смотрит на солнце. Опять облака по краешку неба крадутся. Солнце большое, тяжёлое. Светит так, что, кажется, бьёт по

голове. Василич щурится, глядит наверх и чувствует, как

сердце делает стук и обрывается. Стук – и обрывается. Стук – и... Василич схватился рукой за перила, опустился на ступеньки, стал дышать. Ну всё, вот оно, мелькнуло в голове. Даже на пенсию выйти не успел.

Хотел взять пива, но передумал. Наскрёб мелочи – ровно на метро. Дошёл до станции, спустился и поехал к Маше. Хоть бы дома была! А то если на работе, это ж

до ночи её можно ждать. Она в какой-то новый магазин устроилась, чёрт её знает где – не сказала. Василич представил, как сидит у Машиной двери. А всё равно, наверное, не откроет. И тут сердце опять: стук – и тишина, стук – и тишина... Эй, думает Василич, подожди. Я ещё

Маше не всё сказал. Не всё! Я хочу, чтобы она в Египет поехала, пирамиды смотреть. А как она поедет, если я...

я же в долгах весь, за свет-газ не плачу, да она продаст мою квартиру и... да нет, на Египет ей хватит. Должно

хватить. И на Турцию тоже. Выпей за меня вина, Маша. Турецкого вкусного вина. Стук, тишина... Стук... Василич повалился на пол. Вагон трясло, несколько

пассажиров кинулись к нему, стали тоже трясти его. Поезд катился по чёрному тоннелю, и слабо мерцали лампы, и ещё слабее мерцали люди. Василич сделал вдох,

схватил кого-то за руку и сказал: – Мне завтра в школу! – Что? Что? – не понял кто-то. Вокруг толпились, загораживали лампы, и электрический свет мелькал среди

незнакомых лиц, сливался с ними и был ещё больше, ещё

– В школу... – стук, стук. – Завтра... Как я пойду? Я ни-

Василич сделал ещё вдох, а выдохнуть уже не смог. Тело его тряслось на полу вагона, и какие-то люди тряслись над ним, и ехал поезд по тоннелю, все нескончаемые пятьдесят пять лет, и только теперь показалась станция,

чему не научился в жизни. Ничему не научился... Не знал, что делать...

где можно, наконец, сойти.

ярче, чем солнце. Василич повторил:

## Не прислоняйся

Маша досталась родителям незадолго до развала Со-

ветского Союза, и, хотя её очень хотели, родилась она неожиданно и на год раньше, чем планировали. Александра Игоревна ещё много раз будет потом возвращаться

в то утро, когда Машу принесли ей на кормление и дочь вцепилась в неё большими чёрными, удивлённо блестев-

шими глазами. Этот взгляд, хватавшийся за всё вокруг, долго не отпускал Александру Игоревну. И когда в девяносто первом танки стояли у Белого дома, она прижимала дочь к груди и понимала, что подожди ещё, рожать бы уже побоялась. И такие родные чёрные глаза навсегда бы остались частью чужой вселенной.

Потом начались увольнения, стали рассасываться очереди в магазинах, люди побежали искать заработки.

Александра Игоревна с тревогой думала: дадут ли им теперь квартиру? Они встали в очередь, едва родилась Маша: трое в однокомнатной, им должны были дать

двушку. Но едва рухнул Союз и осколки его с прилипшими талонами и выходящими из оборота рублями по-

летели по России, квартирные очереди замерли и стали пухнуть и расти. Люди по-прежнему дышали друг другу в затылки, ругались на кухнях и били чужие чашки.

Михаил Романович с рождением дочери сбавил в весе. В те полубессонные ночи, когда Маша, капризни-

гирю в двадцать пять килограммов, другим – за деревянные прутья. Едва дочь начинала плакать, он дёргался во сне и пинал гирю. Та тяжело, долго качалась, и качалась детская кроватка, и затихала Маша.

Скоро стало голодно, и Михаил Романович полетел в Турцию, куда все тогда летали за дешёвой одеждой.

чая, оглашала всю комнату, он ставил её кровать поближе и привязывал верёвку одним концом за полукруглую

Джинсы всех размеров и цветов заполнили однокомнатную квартиру и стали кочевать в маленькую точку на рынке в Подмосковье. Потом джинсы сменились детскими игрушками, и наборы в прозрачной, блестящей упаковке

игрушками, и наооры в прозрачной, олестящей упаковке большими сумками встали на комнатном подоконнике. Маша тогда ещё не знала, чем занимаются родители, но, исследуя закоулки квартиры, однажды наткнулась

на эти сумки. Полезли наборы для юных врачей и полицейских, лаковые динозавры беззлобно распахнули свои

пасти. Загремели погремушки, капризно запищали резиновые утки, медведи и Микки Маусы. Маша не любила

шечным стетоскопом сначала саму себя, потом мебель и, наконец, приложила его к окну. От окна холодно дуло. Стекло впитывало горячее ды-

такие игрушки, но набор юного доктора ей приглянулся, и, взяв сразу два, она стала прослушивать коротким игру-

хание и тут же делалось вновь сухим и непроницаемым.

Маша переминалась с ноги на ногу и усиленно вслушивалась. Время шло, но стетоскоп молчал: ни у окна, ни у

комнатной мебели, ни даже у самой Маши не билось в глубине сердце. Глухой инструмент, подумала Маша и,

сразу как-то расстроившись, собрала вскрытые докторские наборы и сунула их обратно в сумку. Родители ничего ей не сказали. Они тогда уже вдвоём стояли на рынке, и Маша, отданная в подготовительную

группу детского сада, задумчиво ковыряла стену, у которой стояла её кровать.

- Спи, - шипела нянечка, пролетая мимо запахом белой хлорки.

Но Маша не спала. Стена разрасталась перед ней, об-

нажая в трещинах немыслимые серо-чёрные глубины, и Маша всё ждала, что однажды отковыряет там клад или же какой-нибудь стенной жук полезет оттуда на свет. Тёк тихий час, сочась по белым простыням. Ворочались во

и Маша тоже ворочалась, устав смотреть в дырку, и думала: скоро ли, скоро ли уже закончится этот сон? Зачем они заставляют спать? Я не хочу.

сне дети, зорко глядела нянечка, покачиваясь на стуле,

Детский сад она почти не замечала. Он мелькал в её днях ржавыми прутьями забора, за которыми творился мир, и тёмно-красным кирпичом прогулочных веранд.

Маша поднимала кирпичные осколки, камешки, палочки и рассовывала по карманам. В песочнице она иногда находила забытые кем-то игрушки из киндер-сюрпризов.

Они ярко блестели, зарыв в песок головы, и Маша заби-

В школу её отдали в шесть лет, и в том же году Михаил Романович ловким движением рук достал из стены плюшевую черепаху. Маша могла поклясться, что смотрела прямо на стену и что черепаха возникла из ниоткуда на

– Как? Как ты это сделал? – толкала она папу, но Миха-

Долгими вечерами Маша пыталась достать из стены что-нибудь ещё. Но стена, покрытая ковром, только молча заплетала узоры. Распускались перед Машей квадраты, ромбы и чьи-то невнятные прямоугольные лица. Никаких черепах больше не было. Маша даже залезла под

ил Романович смеялся и отвечал серьёзным басом:

рала их тоже. Если кто-то будет искать, думала она, я вер-

ну. Но никто не искал.

приставленной к стене руке.

Волшебство. Всё волшебство.

ковёр: выведать, нет ли там какой тайны, но ковёр пусто облепил её толстыми складками. Спустя год бабушка взяла Машу на Красную площадь.

Они поехали на метро, и Маша стояла у дверей, прислонившись лбом к стеклу. За окном летели голые деревья, тёмная, будто каменная Москва-река, краснеющая церковь,

колючая проволока, спиралью изогнувшаяся над забором. Летело сероватое, клочками небо, похожее на каплю чёр-

ной краски в воде, и поезд ухал в тоннель, шум рос, и тысячи колёс стучали по рельсам прямо в Машиной голове. А потом обнажался мост над рекой, и было видно Белый дом, и песочные высотки, и стаю уток, галочкой уходящих вдаль. Повисала в небе надпись «Не прислоняться», и Маша виде-

ла, как утки пересекают её, не замечая, и поезд снова врывался в тоннель. Теперь уже до самой Красной площади. Там они зашли в храм, попав на середину вечерней

Гам они зашли в храм, попав на середину вечерней службы, и густой, плотный запах ладана закружил Машу. Навалились со всех сторон иконы и люди. Бабушка дада

Навалились со всех сторон иконы и люди. Бабушка дала Маше свечку и подтащила к высокому подсвечнику. – Как?
– Попроси, чтобы у них всё хорошо было, чтоб здоровы были, и ты их не расстраивала.
Маша попросила. Свечу воткнули в единственное сво-

– Помолись за родителей, – жарко шепнула она, и

бодное место, и та запылала среди других, таких же медовых, длинных, с отростками на теле. Служба подходила к концу, и бабушка потянула Машу за руку:

– Пошли.
 Прямо напротив распахнул двери маленький магазинчик, и оттуда блеснули заставленные игрушками полки.

Игрушки оказались из стекла: дутые, маленькие, разноцветные, они изгибались, сворачивались, рычали, поджимали хвосты и растопыривали лапы. Блестело под ними

стекло полок, блестели начищенные витрины, звенела иностранная речь покупателей в смешных ушанках, и Маша,

Маша спросила:

оглядываясь, думала: как красиво, как хотелось бы...
– Бабуль, а ты не купишь?..

– Нет.

Машу обожгло обидой, и она пошла прочь по магазину вдоль витрин, пока не уткнулась в шкаф, невысокий, прозрачный, празднично отражавший всё вокруг. Игрушки там были другие: ещё меньше, ещё красивее, ещё

дороже. Стеклянные хамелеоны, выгнувшие языки, застывшие ящерки с выпученными глазами-апельсинами, львы, кошки, жирафы с тонкими высокими шеями... Они

львы, кошки, жирафы с тонкими высокими шеями... Они были как леденцы, и Маша даже облизала губы в невыносимом желании потрогать эти стекляшки, ощутить их прохладную, гладкую, разноцветную поверхность. Вдруг

бабушка задышала ей в ухо:

— Отойди, — сказала она. — Отойди от шкафа.

И тотчас отвернулась, поспецила назал, где уже успе-

И тотчас отвернулась, поспешила назад, где уже успела с кем-то разговориться. Маша поглядела ей вслед, не

Никто не смотрел на Машу, и бабушка – её большая, как гора, бабушка – затерялась среди этих людей, и нигде не было видно её серого взгляда.

Тогда Маша снова обернулась к шкафу и похолодела: одна его дверца была настежь распахнута. Маша ощутила в горле острый, горячий комок и, проваливаясь в твёрдый пол, сделала шаг, ещё один, ещё... Она стояла

понимая, почему она должна отойти, что такого в том,

Иностранцы в шапках уже покинули магазин, и теперь он наполнялся сплошь русской речью: что, где, почём?

что она постоит у шкафа и посмотрит внутрь?

продавщица — широкая, улыбчивая женщина, которая механически упаковывала покупки. Чик ножницами: лента на коробке скручивается в широкий бант, и следуюта на коробке скручивается в широкий бант, и следуюте

у самого шкафа, и никто, никто на неё не смотрел, даже

щая покупка вырастает на прилавке. Маша вцепилась глазами в полочки, и стоявшие на них

стекляшки замерли в ожидании. Ей даже показалось, что они тоже смотрят на неё крохотными стеклянными глазами, чувствуют прозрачной кожей её присутствие и ждут,

ждут: кого же она выберет? Ладони её взмокли и похолодели, и, поднимая тяжёлую руку, она ощущала, как бьющееся сердце раскачивает тело взад и вперёд. Лягушка, подумала она, я хочу ту лягушку. И горячая волна побежала по горлу.

Лягушка была в болотно-синих пятнышках, и согнутые лапки её тонкими, длинными пальцами торчали в разные стороны. Она оказалась такой маленькой, такой гладкой и холодной, что Маша с наслаждением сжала её во влаж-

ной ладони и отступила от шкафа. Волосы чуть взмокли, глаза забегали по магазину: неужели никто не видел, никто не смотрел? Она сглотнула ещё раз. Никто. Никто. И Маша сунула лягушку в карман.

Потом они останавливались в переходе, глазели на какие-то ещё витрины, тёмные, сумрачные и заляпанные,

она просто возвращается с обычной прогулки, повернёт ключ в замке, откроет, закроет и начнёт неторопливо разуваться. Дома ещё никого не будет. И Маша сядет на диване, достанет из кармана стеклянную лягушку, огля-

шли дальше, и низкие потолки качались над ними, и какие-то люди, в шапках и распахнутых пуховиках, бросались навстречу. Маше было неинтересно. Ей хотелось приехать скорее домой, и чтобы бабушка оставила её у двери, и тогда Маша пойдёт не спеша, делая вид, что

дит её со всех сторон и положит на колени.

– Ну вот ты и дома, – скажет она ей.

И лягушка станет тёплой и совсем-совсем своей. А сей-

час, пока они ещё не доехали до дома и застряли между там и здесь, Машу нёс поезд, и всё ей казалось, что ка-

кая-то сила тянет лягушку назад. И надо было ехать, далеко-далеко ехать, и потом ещё идти, и потом запереть дверь, и потом положить лягушку в коробку, и закрыть коробку, и тогда – тогда лягушку перестанет тянуть назад, и она останется.

«Не прислоняться», – прочитала Маша на трясущей-

ся двери вагона. А почему не прислоняться? Что такого,

если кто-то прислонится? Ведь она, Маша, ехала недавно в поезде, давила лбом на стекло, и из-под её взгляда утекали дома и деревья, и ничего, ничего не случилось. Почему нельзя прислоняться? Маша хотела спросить у бабушки, но та тяжело дремала, сидя рядом, и Маша,

перекатывая пальцами лягушку в тёплом кармане, тоже стала засыпать. Поплыли перед глазами какие-то люди, переходы, поезда, полетели утки над головой. Наклонялась сбоку бабушка и шипела на Машу:

– Отойди. Помолись, – говорила она. – Не прислоняйся.

И была бабушка в белом нянечкином халате, и пахло от неё белой хлоркой.